

С.А. Горюнов

**В СО-АВТОРСТВЕ С ЦЕНЗОРОМ: ЦЕНзуРА КАК «ЗАКУЛИСЬЕ»
ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ (НА МАТЕРИАЛЕ ЦЕНЗУРНЫХ ДОКУМЕНТОВ
КОМИТЕТА 2 АПРЕЛЯ 1848 ГОДА)**

Аннотация. Статья исследует нетипичную роль цензуры в литературном процессе XIX в., рассматривая ее не просто как контролера, а как потенциального соавтора произведения. На примере цензурного дела Комитета 2 апреля 1848 г., посвященного комедии А.Н. Островского «Свои люди – сочтемся», автор показывает, как цензура пыталась не только ограничить, но и активно вмешаться в творческий замысел драматурга.

Применяя оптику «читательских практик» Роже Шартье, где литературное произведение эпохи предварительной цензуры воспринимается как коллективный продукт, статья выдвигает интересное предположение. Автор считает, что публикация классических текстов в сопровождении их «цензурной биографии» – то есть истории цензурных правок и обсуждений – способна существенно изменить наше восприятие самих произведений. Переосмысливается роль «самоцензуры» автора. Такая самоцензура, по сути, является формой непрямого соавторства, когда автор, предвидя возможную реакцию цензора, сам вносит изменения в текст, стремясь избежать запрета. Таким образом, цензура прямо и косвенно участвовала в формировании финального текста.

Ключевые слова: цензура; цензурная биография книги; читательские практики; Комитет 2 апреля 1848 года; театр бюрократии; А.Н. Островский.

Горюнов Сергей Айказович – научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН. Россия, Москва.

E-mail: existimator@yandex.ru

Web of Science Researcher ID: NWH-8571-2025

ORCID: 0000-0001-6256-5099

Goryunov S.A.

**Co-Authored with the Censor: Censorship as the ‘Backstage’ of Literary Life
(Based on the Censorship Documents of the Committee of April 2, 1848)**

Abstract. This paper, through the lens of the censorship proceedings conducted by the Committee on April 2, 1848, concerning Ostrovsky’s comedy «Svoi lyudi – sochtyomsya», explores the attempt by censors to intervene as co-authors, thereby encroaching upon the author’s creative

intent. By framing this pre-revolutionary work, produced during the era of pre-publication censorship, as a collective product and process – interpreted through Roger Chartier's theory of "reading practices" – the author argues that publishing "classical" texts alongside their "censored biographies" alters the reader's perception of both the work itself and the functions of censorship and self-censorship, the latter understood as a form of indirect co-authorship.

Keywords: *censorship; censorship biography of a books; Committee of the April 2nd 1848; theater of bureaucracy; A.N. Ostrovsky.*

Goryunov Sergey Aikazovich – Research Fellow at the Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences. Russia, Moscow.

E-mail: existimator@yandex.ru

Web of Science Researcher ID: NWH-8571-2025

ORCID: 0000-0001-6256-5099

Дозволено цензурою

Если открыть любую книгу, изданную в XIX в., мы непременно увидим на обороте титульного листа пометку «дозволено цензурою».

Эта надпись не кажется слишком примечательной, и мало кто обращает на нее отдельное внимание. Однако рассматривая книгу как коллективный продукт (и процесс) и во многом сближаясь в этом взгляде с оптикой «читательских практик» Роже Шартье, апеллирующего к зависимости восприятия при чтении множества «сложных и взаимосвязанных детерминант» [Шартье 2001, с. 165], нам кажется важным отдельно остановиться именно на этом перформативном высказывании (по Дж. Остину) – «дозволено цензурою». За ним стоит не просто факт одобрения книги, а некий процесс, если не сказать драматургия. Текст писался в «ситуации цензуры», в период контроля над публичным высказыванием, в XIX в. Цензура, которая нас, в первую очередь, интересует в данной статье, была предварительной. Прежде чем получить право на публикацию текст вычитывался цензором, следовательно, автор писал текст с пониманием, что первым (и, быть может, последним) его читателем окажется именно цензор.

В первой половине XIX в. цензура в Российской империи была исключительно предварительной. «Карательная» цензура (для некоторых «повременных» изданий) впервые появляется только в 1865 г. Напомним, что «карательная» цензура, несмотря на более грозное название, была, в сущности, формой послабления надзора. Фактически решение о публикации в этом случае принимал издатель, но и ответственность за пропуск текста в печать нес он же.

В ситуации *предварительной цензуры* цензор нес прямую ответственность: «...цензор отвечает за каждое слово автора, даже за то, что читается между строками; ему может быть поставлен в вину каждый недосмотр, малейший недостаток внимания может быть признан нарушением служебного дол-

га» (цит. по: [Патрушева 2016, с. 80]). Даже безлика формулировка «дозволено цензурою» в этот период имела персонализированный вид. Хорошим примером тут может послужить «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка», опубликованный в 1848 г. (и на деле оказавшийся лишь формой, посредством которой М.В. Буташевич-Петрашевский распространял свободомыслие). На фронтисписе этой книги, впервые опубликованной в 1845 г., стоит более конкретная отметка с указанием цензора: «Печатать позволяется с тем, чтобы по напечатании представлено было в Цензурный комитет законное число экземпляров. С. Петербург, апреля 5 дня 1845 года. Цензор А. Крылов» [Карманный словарь 1845].

Книгу повторно (т.е. уже после публикации) рассматривал Комитет 2 апреля 1848 года. Этот «высший» цензурный комитет был учрежден Николаем I для цензуры над самой цензурой. Он рассматривал то, что уже было пропущено цензурой на местах. Комитет напрямую подчинялся монарху, и на каждом протокольном журнале стояла резолюция Николая I. Получается довольно удобная для анализа и исследования ситуация, так как из фабулы дела, изложенной в протокольном журнале заседаний, а также из ответов других ведомств мы можем узнать детали пропуска книги – предысторию, а из резолюций Николая I – мнение самого императора. Это тот случай, когда цензура буквально действовала именем Его императорского величества (в регламенте Комитета об этом прямо сообщается) [Дело «По учреждению Комитета 2-го Апреля 1848 года...», л. 5]. Рассматривая словарь, Комитет спрашивает Николая I о возможном наказании конкретно цензора Крылова, «имевшего неосторожность или неблагоразумие пропустить подобное сочинение в печать» [Дело «О извлечении из продажи книжки под заглавием: Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав Русского языка», л. 3]. Персональная ответственность настаивает цензора спустя годы после выхода книги. Это важная деталь, которая нередко ускользает, и тогда цензор предстает в виде своего рода «отрицательного персонажа», который мог бы и не наносить вред литературе, но делает это. Однако, как мы видим, за недостаточную цензурную строгость карался сам цензор (сразу или спустя время). Такого рода детали, на наш взгляд, дают более четкую картину ситуации, помогают в конструировании исторического целого [Лаппо-Данилевский 2013, с. 490–498, 538–541, 542–546].

Однако роль цензора нельзя свести к контрольно-пропускной функции. Цензор в эпоху цензуры оказывается как бы *со-автором* текста. Ключевыми теоретическими предпосылками для такого взгляда можно считать рассуждения о «читательских практиках» Р. Шартье. Если в фокусе внимания оказывается носитель или книга как продукт книжной культуры, как нечто целое, то иным становится и взгляд на автора. Автор текста становится лишь одним из *со-авторов* продукта наряду с редакторами, верстальщиками, копирайтерами, оформителями/дизайнерами и т. п.

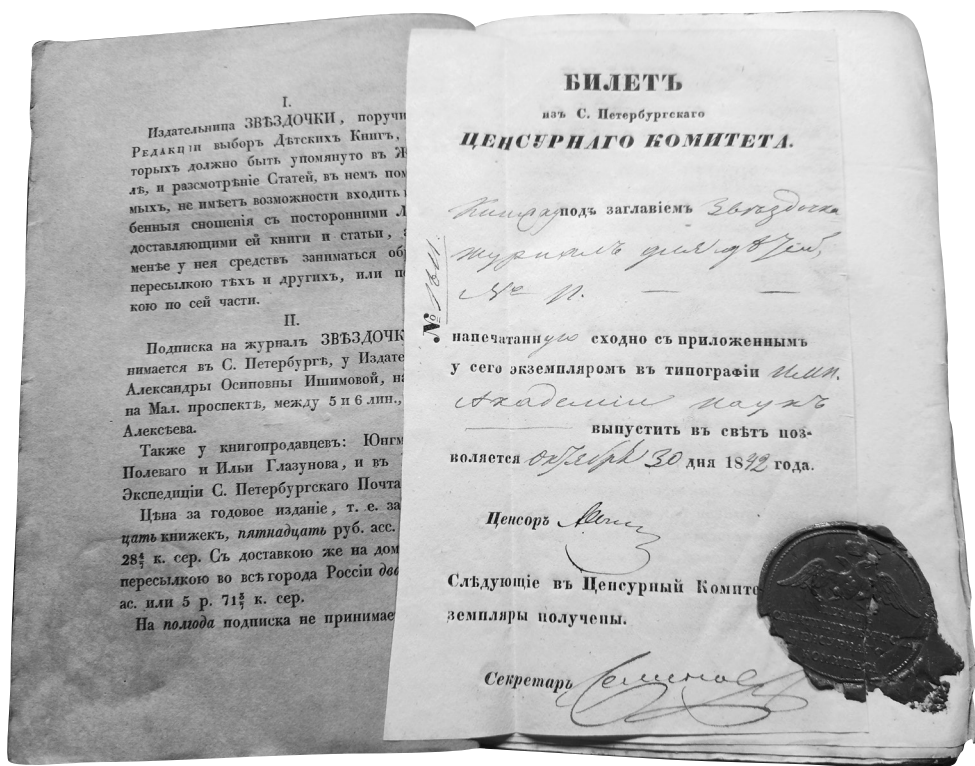


Рис. 1. Образец «билета цензурного комитета» из фонда хранения ИНИОН РАН

В этот список, в применении к книжной культуре XIX в. (и не только), безусловно, можно добавить и цензора. Впрочем, просто указать его в ряду *соавторов* оказывается не вполне достаточным действием. Интуитивно понятно, что фигура цензора должна рассматриваться, скорее, не в ряду прочих участников процесса, а, скажем, «из ряда вон». Его вторжение в произведение всегда ощущается как нечто чуждое и травмирующее. Однако и этого замечания недостаточно. Чтобы понять роль цензора в произведении, особенно в исторической ситуации предварительной цензуры первой половины XIX в., от которой нас отделяет колоссальная историческая дистанция, нужно попробовать добавить еще несколько штрихов к портрету цензора.

Цензор – это определенная роль в бюрократическом театре. В этом театральном аспекте бюрократия занята непрерывным производством символической власти. Бюрократический документ как некоторый итоговый материальный продукт переполнен такого рода «знаками» и «символами», и цензура тут не была исключением. Штампы, грифы, подписи, формулировки – все направлено на манифестацию власти, навязывает читательское поведение (по Шартье). Рассмотрим для примера стандартный цензурный билет (см.: рис. 1).

Начиная с перформативного высказывания «выпустить в свет позволяется» и заканчивая «орленым» рельефом оттиска сургучной печати санкт-петербургского цензурного комитета на пломбе из казенного темно-красного сургуча – все манифестирует, что перед нами не текст, а властный перформативный жест, вердикт лица, облеченного властью, документ, удостоверяющий право продукта быть публичным, или, если пользоваться буквальной формулировкой, – «увидеть свет» (своего рода «свидетельство о рождении» книги). Следует учитывать, что в Российской империи любой цензор действовал именем Его Императорского Величества (как современные суды действуют именем Российской Федерации). Вот как об этом пишет Н. А. Энгельгардт: «Мы называем цензуру первой половины столетия «александровской», «николаевской», потому что преследования печати производились монаршим именем и обществом относились к личности самого монарха» [Энгельгардт 1904, с. 11]. Далее он цитирует критическое мнение комиссии по делам книгопечатания относительно этой практики, которая, в частности, подчеркивает, что подобной практики не существует ни в одном государстве (отдельно упоминая и Францию). Это утверждение корректно, хотя во Франции королевские цензоры имели право выдать «королевскую привилегию» – «*avec approbation et privilege du Roy*» («с одобрения и привилегии короля»), которая, однако, касалась лишь книг, особо отмеченных цензорами в положительном смысле [Дарнтон 2017, с. 25]. Так или иначе, в Российской империи практика действовать от имени императора была в цензуре повсеместной. И это тоже (помимо «эффекта высокой проводимости» от местного цензора к монарху и, возможно, эффекта дополнительного груза ответственности, ощущаемого цензором) аспект производства символической власти.

Наконец, цензор как актер / персонаж, – это, безусловно, антагонист автора как героя (протагониста). Будучи сами людьми образованными и просвещенными, цензоры нередко осознавали эту свою роль и, стараясь от нее избавиться, помогали авторам придумать стратегии обхода цензуры или порой предотвращали чрезмерное рвение автора в самоцензуре. Эту внутреннюю диалектику (дитя культуры и просвещения, наносящее вред культуре и просвещению) мы можем встретить, например, в некоторых дошедших до нас дневниках цензоров, открывающих дополнительные возможности исследования. Так, Роберт Дарнтон существенную часть своего внимания посвящает именно теснейшему, чаще всего кулуарному / «коридорному» сотрудничеству цензора и автора, раскрывающемуся нам в исторических эго-документах (дневники, мемуары, автобиографии, письма и т.п.).

Еще важнее, пожалуй, то, что в ситуации цензуры не только цензор – *соавтор*, но и автор – *со-цензор*. Текст мог как «появиться на свет» в кабинете цензора, так и быть в нем «похоронен». От цензора зависела судьба текста (а порой и автора) и, что гораздо важнее, автор знал это уже при написании текста (за его спиной незримо присутствовал строгий наблюдатель). Это важно осознавать,

чтобы попробовать прочувствовать «атмосферу эпохи» (по Марку Блоку). Увы, феномен самоцензуры невозможно зафиксировать, а ее «градус» в ту или иную эпоху – «замерить». Навряд ли сейчас можно понять, что означает быть автором в «эпоху предварительной цензуры», как невозможно, пожалуй, понять и человека средневековой культуры, живущего не по часам, а по ударам колокола на городской колокольне (что было убедительно продемонстрировано А.Я. Гуревичем в работе «Категории средневековой культуры», см. раздел «Что есть время?» [Гуревич 2020, с. 25]). Но это, на наш взгляд, не означает, что самоцензуру можно игнорировать и не брать в расчет, тем более что эго-документы дают некоторое представление о ней (со всеми оговорками, касающимися этого типа источника).

В качестве примера можно привести как раз работу Комитета 2 апреля 1848 года (для нашего текста – центральный источник). Комитет работал с 1848 (назван по дате основания) по 1855 г., и эта семилетка была названа исследователем истории литературы и цензуры Лемке «эпохой цензурного террора» [Лемке 1904]. Но такова ли была ситуация с Комитетом? Собственный архив Комитета не насчитывает и 300 дел (за семь лет существования!), среди которых, помимо весьма значимых, есть и дела о папиросах со стихами и оракулом [Дело «О папиросах со стихами и оракулом»], об обертках от конфет с французскими девизами [Дело «О привозимых из Франции девизах, наклеенных на конфеты»], о пригласительных билетах на бал [Дело «О воспрещении всякого рода приглашения или извещения печатать на билетах с символическими изображениями»] и о лубочных картинках с сомнительными высказываниями [Дело «Об издаваемых в Москве лубочных картинках без дозволения цензуры»]. Все это не выглядит слишком масштабным, и можно было бы сказать, что называть время работы Комитета «эпохой цензурного террора» – преувеличение. Но Комитет был секретным, широкой публике оставался неизвестным тот факт, что он, помимо прочего, рассматривал обертки от конфет и приглашения на бал. То, как он представлялся «снаружи», мы можем увидеть, например, из дневника цензора Никитенко. Никитенко так описывает Меншиковский комитет (просуществовал совсем недолго, в том же 1848 г. был преобразован в Комитет 2 апреля 1848 года): «Цель и значение этого комитета были облечены таинственностью, и оттого он казался еще страшнее... Панический страх овладел умами. Распространяются слухи, что комитет особенно занят отыскиванием вредных идей коммунизма, социализма, всякого либерализма, истолкованием их и измышлением жестоких наказаний лицам, которые излагали их печатно, или с ведома которых они проникли в публику. ... Ужас овладел всеми мыслящими и пишущими. Тайные доносы и шпионство еще усложняли дело. Стали опасаться за каждый день свой...» [Никитенко 1893, с. 493–494], и в другом месте: «Когда Бутурлин предлагал закрыть университеты, многие считали это несбыточным. Простяки! ... Вот теперь тот же Бутурлин действует в качестве председателя какого-то высшего негласного комитета в цензуре и действует так,

что становится невозможным что бы то ни было писать и печатать. ... Далю запрещено писать (см.: [Дело «О помещенной в 10-м No Москвитянина рассказе Ворожейка, соч. В. Даля»]). Как? Далю, этому умному, доброму, благородному Далю! Неужели и он попал в коммунисты и социалисты?..» [там же, с. 493–495].

Примеры можно множить. Но остановимся ненадолго на этом. Дело заведено Комитетом в отношении рассказа Владимира Даля «Ворожейка». Рассказ посвящен тому, как цыганка плутовством лишила имущества крестьянку и осталась безнаказанной, так как к моменту, когда крестьяне пришли на место табора, «его и след простыл». Недовольство Комитета вызвала лишь одна фраза: «...наконец заявили Начальству – тем, разумеется, дело и кончилось...» [Дело «О помещенной ...», л. 5]. Комитет отмечает по поводу этой фразы: «Двусмысленное выражение в словах – «заявили Начальству – тем, разумеется, дело кончилось» – намек на обычное будто бы бездействие Начальства, ни в коем случае не следовало бы, по мнению Комитета, пропускать в печать, в особенности после сделанного в нынешнем же году, по Высочайшему повелению, подтверждения по Цензурному ведомству о том, чтобы в печати не были употребляемы никакие, даже косвенные порицания распоряжений и действий Правительства» [Дело «О помещенной ...», л. 5 об.]. Как видно, дело было отнюдь не в социализме или коммунизме Владимира Даля (впрочем, как посмотреть). На протокольном журнале Комитета стоит резолюция Николая I, в которой он поручает сделать Далю строгий выговор, «ибо ежели подобное не дозволяется никому, то лицу должностному и в таком месте службы еще менее простительно».

Пользуясь цитатой из рассказа «Ворожейка», отметим, что «тем, разумеется, дело кончилось». Но важна как раз не незначительность дела, а то «эхо», которым оно доносилось до современников и нашло отражение в дневниках цензора Никитенко.

Впрочем, преуменьшать значение Комитета было бы также ошибкой. Независимо от того, какова была в реальности его эффективность, его устрашающий эффект, безусловно, приводил к повышению градуса цензуры и самоцензуры: «Я заходил сегодня в цензурный комитет. Чудные дела делаются там. Например, Цензор Мехелин вымарывает из древней истории имена великих людей, которые сражались за свободу отечества или были республиканского образа мыслей – в республиках Греции и Рима. Вымарываются не рассуждения, а просто имена и факты. Такой ужас навел на цензоров Бутурлин с братьей...» [Никитенко 1893, с. 508]. И если даже цензоры подвергались такому эффекту самоцензуры, то об авторах и говорить не приходится. В переносном смысле вполне допустимо рассматривать цензора как *со-автора*, вмешивающегося в замысел еще до всякой цензуры. Но *со-авторство* могло иметь место и в прямом смысле слова, так как цензоры нередко «участвовали» в создании произведения, непосредственно вторгаясь в текст.

«Свои люди – сочтемся»

Для нашей статьи мы взяли дело, предмет которого знаком едва ли не каждому (включен в школьную программу) – комедию А.Н. Островского «Свои люди – сочтемся». Пьеса была опубликована в № 6 журнала «Москвитянин» за 1850 г.

Текст протокольного журнала заседаний комитета представляет собой что-то вроде пересказа пьесы (наподобие современных дайджестов классических произведений русской литературы, неизменно пользующихся спросом у нерадивых школьников), к которому прибавлено мнение Комитета. Именно этот документ попал на стол императора, и мы хотим предложить читателю в порядке внутреннего эксперимента «встать на его место», увидеть и прочесть то, что увидел и прочел Николай I. Текст наглядно демонстрирует и позволяет прочувствовать атмосферу бюрократического разговора николаевской эпохи (в том числе и с точки зрения «символического производства власти»). Это яркий пример попытки цензоров вторгнуться в текст и выступить в роли *со-авторов*, предложить «свой вариант пьесы». Если применять оптику Р. Шартье, то цензурное дело тут – часть «биографии» пьесы (текст уже был опубликован, продукт в данном случае пьеса, которая была запрещена к постановке «на театрах» Николаем I). Наконец, судя по всему, целиком журнал заседания по этому делу никогда не публиковался и может быть любопытен исследователям литературы и цензуры, в этом плане его введение в научный оборот кажется нам бессмысленным. Итак, обратимся к комедии Островского в «кратком пересказе» для Его Императорского Величества.

Журнал Комитета Высочайше учрежденного во 2-й день Апреля 1848 года

Во второй мартовской книжке Москвитянина (№ 6-й) напечатана комедия в 4-х действиях: «Свои люди – сочтемся», А. Островского.

Содержание этой пьесы состоит в том, что единственная дочь богатой, но невежественной купеческой четы, получив внешнее полувоспитание, гнушается родителей и глубокое свое к ним презрение – особенно к слабой и потворствующей ей матери – выражает при всяком случае самым едким образом и даже наглыми ругательствами. Между тем девушка горит желанием выйти замуж за человека чиновного, или по крайней мере благородного. Но у отца свои замыслы. Возбужденный примером нескольких других богатых купцов и своекорыстными внушениями стряпчего из отставных чиновников и своего приказчика, прикрывающего личиною привязанности самую гнусную бессовестность, он решает объявить себя подложно банкротом, переводя все свое имение на того же приказчика, за которого выдает и свою дочь. Последняя сперва противится такому союзу, уничтожающему все ее воздушные замки; но потом, обольщенная обещаниями жениха угождать всем ее прихо-

тям и особенно освободить ее от ненавистного родительского ига, склоняется и отдает ему свою руку. На этом останавливается 3-е действие.

В 4-м отец, обвиненный в злом банкротстве, сидит в тюрьме и предвидит осуждение свое в Сибирь, а дочь с мужем утопают в роскоши – плоде богатств, тем же отцом им переданных. Старика ведут мимо их окон, с допроса в судебном месте, и на минуту выпускают к дочери. Тут раздирающая сердце сцена. И отец, и мать умоляют новобрачных надать несколько копеек на рубль, для удовлетворения кредиторов и достижения через то мировой сделки, которою могло бы все окончиться. Упорный отказ. «Опомнитесь – говорит отец – ведь я у вас не милостыни прошу, а свое добро. Люди ли вы?» – «Известное дело, тятенька – отвечает дочь – люди, а не звери же». В таком тоне презрительных насмешек, даже хладнокровной жестокости, ведена вся сцена. Отца уводят снова в тюрьму. «Эх, Алимпиада Самсоновна-с! Обращается разбогатевший приказчик к своей жене – неловкость! Жаль тятеньку, ей Богу, жаль! Нешто поехать самому поторговаться с кредиторами! Аль не надо? Он-то сам лучшие их разжалобит. А? Аль ехать? Поедусь?» – «Как хотите, так и делайте – отвечает жена – ваше дело». – Этим сомнительным положением кончается комедия – отец остается за долги в тюрьме и в опасности ссылки, а дочь и муж ее, благодетельствованный от детства своим тестем, остаются в раздумьи, спасать ли несчастного старика небольшим пожертвованием из того значительного достояния, которое он им предоставил.

Комитет прежде всего долгом считает заметить, что в этом произведении нет ничего прямо противного правилам общей цензуры. Они не запрещают ни осмеивать странности или слабости, ни представлять в действительности страсти, порок и даже преступление. Первое есть, напротив, одна из важнейших целей драматического искусства, а последнее всегда и на всех театрах в мире давало писателям главные элементы и пружины для их созданий. Начиная от греческой сцены и кончая русской, как младшею, везде являлись отцеубийцы, клятвенпреступники, нарушители законов Божеских и гражданских и злодеяние во всех его видоизменениях. Следственно ни цензор за пропуск комедии г. Островского, ни издатель журнала за помещение оной, не могут быть привлечены к ответственности. Но в тех высших видах, в которых вверен Комитету надзор за нашим книгопечатанием, в той нравственной, так сказать, цензуре, которая на него возложена, ему нельзя было не обратить внимания на эту пьесу. Она, несомненно, имеет свою хорошую сторону: ибо в ней, с примечательным талантом, выставляется на позор и подвергается заслуженному наказанию нелепая страсть нашего купечества давать детям модное воспитание и, вместе, карается язва нынешнего времени – злостное или умышленное банкротство. Но кто действующие лица, которыми все это обставлено? Богатый купец, который с громкими фразами чести и добродетельности на устах обманывает своих

заимодавцев; жена его, глупая баба, трепещущая и пред мужем, и пред дочерью; дочь – изверг, для которой нет ничего святого и заветного; приказчик, который, быв призрен и вскормлен в доме своего хозяина, обирает его до нага и отдает на жертву кредиторам, «подлец бесчувственный», как зовет его сам хозяин; даже лица второстепенные: стряпчий, сваха, ключница и мальчик – совершенно соответствуют главным.

Ни одного характера, призывающего на себя уважение, ни одной черты, или порыва, на которых можно было бы с отрадою остановиться посреди картины этой моральной низости. Изображая наше среднее купечество и клеймя заслуженным образом его странности и пороки, неужели автор не мог найти в среде его и вставить в свою раму, для противоположности, ни одного из тех почтенных наших купцов, в которых богобоязненность, праводушие и прямота ума составляют типическую и неотъемлимую принадлежность? Неужели также условия эффекта необходимо требовали возвести до такой противуестественной бесчувственности гнусное неприличие обращения дочери с родителями и нельзя было выставить горькие плоды французского полувоспитания в столь же безумном и смешном, но менее преступном виде. Наконец, заключение комедии – торжество черной неблагодарности в двух лицах, дочери и приказчика – оставляет самое печальное впечатление, и его ощутили не только члены Комитета, но и разные другие лица, читавшие комедию в рукописи, в которой она первоначально явилась в Петербурге. Тогда общее мнение было, что ее не позволят напечатать, хотя, как уже сказано, в ней нет ничего против правил цензуры.

За сим, не усматривая и в самом направлении автора ничего предосудительного, или неблагонамеренного: ибо, давая пороку торжествовать, он рисует его, впрочем, в таких черных красках, которые сами собою внушают омерзение, Комитет считает, однакож, полезным, при явном отпечатке таланта, лежащем на всем этом произведении, предоставить, через Министра Народного Просвещения Попечителю Московского учебного округа призвать пред себя господина Островского и, передав ему вышеизложенное, вразумить его, что благородная и полезная цель таланта должна состоять не только в живом изображении смешного и дурного, но в справедливом его порицании, не только в каррикатуре, но и в распространении высшего нравственного чувства: следственно, в противопоставлении пороку добродетели, а картинам смешного и преступного таких помыслов и деяний, которые возвышают душу; наконец в утверждении того, столь важного для жизни общественной и частной верования, что злодеяние находит достойную кару еще и на земле.

Комитет обратился от сего к другому вопросу, хотя не прямо входящему в круг его действия, однако прямо истекающему из тех замечаний. Если комедия г. Островского производит такое впечатление при одном чтении, то эффект ее при представлении был бы еще разительнее и мог бы внушить

прискорбные мысли и чувства тем из нашего купеческого сословия, которые дорожат своею честью и доброю славою. Посему не будут ли настоящие соображения приняты на вид при рассмотрении, следует ли разрешать постановку на сцену этой, сколь известно, нигде еще не игранной комедии.

Такое заключение свое Комитет положил повергнуть на Высочайшее Государя Императора благоусмотрение.

Подписали: Николай Анненков и Барон Модест Корф. Скрепил Правитель дел Комитета Камер-Юнкер Ростовский.

«С подлинного верно. Камер-юнкер Ростовский [подпись]». № 93. 29 марта 1850.

[Дело «О помещенной в № 6-м Москвитянина сего года комедии Островского “Свои люди – сочтемся”» Л. 2-8.]

Хотя отдельные высказывания из второй части документа уже цитировались, нам важно привести весь журнал целиком, чтобы дать общее представление о документе, попавшем на стол Николая I. Настроение документа, на наш взгляд, дает возможность почувствовать ситуацию, в которой писал Островский и его современники. Пожалуй, это «свидетельство бюрократической мысли» можно назвать вполне удачной иллюстрацией того, как цензурный контекст, или, скажем, «цензурная биография произведения», меняет и наше читательское поведение. С одной стороны, становится очевидным, что быть писателем в подобных цензурных обстоятельствах – подвиг. С другой стороны, само произведение, которое рассматривается как «одно из», «в ряду других» (а для некоторых – лишь эпизод из школьной программы), вместе с цензурным контекстом воспринимается, на наш взгляд, уже совершенно иначе.

Любопытно, что Комитет в нескольких местах подчеркивает, что автор не нарушил цензурное законодательство. Общей практикой цензурного рассмотрения было обязательное указание на конкретно нарушенный параграф цензурного устава, поэтому обойти этот вопрос Комитет попросту не может. Фактически если цензурное законодательство не нарушено, никакой причины заводить делопроизводство нет. И тем не менее Комитет заводит делопроизводство, а высказанные им претензии целиком находятся за скобками цензурного законодательства, они обращены на драматургию произведения, вторгаются в авторский замысел – цензор пытается стать *со-автором*.

Можно выделить две основных претензии к пьесе: 1) в ней отсутствует зримое наказание порока – непочтительного отношения к родителям вследствие «французского полувоспитания»; 2) в произведении отсутствуют положительные персонажи, способные составить противовес отрицательным. К слову, второе замечание практически полностью повторяет претензию цензора Михаила Гедеонова, который первично рассматривал текст: «...все действующие лица: купец, его дочь, стряпчий, приказчик и сваха отъявленные мерзав-

цы. Разговоры грязны; вся пьеса обидна для русского купечества» [Лакшин 2004, с. 143]. По сути, тезисы об отсутствии положительных персонажей и негативное представление купеческого сословия повторяются едва ли не слово в слово.

Надо заметить, что эти претензии, переданные Островскому, не остались безответными. Так, в письме Назимову от 26 апреля 1850 г. он пишет: «В истинности слов, что порок наказывается на земле, которые г. министру народного просвещения угодно было поставить мне на вид, я не только никогда не сомневался, но постоянно думал и думаю, что в нашем отечестве это делается правее и законнее, нежели где-нибудь в другом месте. Я писал свою комедию, проникнутый именно этим убеждением. Купец Большов, сделавший преступление, наказывается страшною неблагодарностью детей и предчувствием, и страхом неизбежного наказания законного» (цит. по: [Зубков 2023, с. 261–262]). Весь дальнейший ход истории с пьесой Островского можно узнать в прекрасной монографии Кирилла Зубкова (мы цитируем письмо Островского по его книге). Зубков прослеживает биографию комедии вплоть до разрешения к постановке, и пересказывать ее в нашем тексте нет смысла. В то же время процитированное нами дело Комитета 2 апреля 1848 года почти не представлено в книге, и дополнить информацию по документам Комитета нам кажется важным.

Совершенно очевидно, что требования Комитета при проговоренном отсутствии чего-либо, что может быть запрещено цензурой, вторгаются именно в замысел произведения. Отсюда и странное предложение «вразумить» Островского. По сути, предложено переписать текст с учетом «пожеланий». Здесь вполне можно говорить не столько об охране «нормы», которую цензура традиционно осуществляла, но которая вовсе не нарушается, сколько о *со-авторстве* со стороны цензуры.

Такие случаи цензурного *со-авторства* нередки и порой приводили к любопытным попыткам со стороны авторов защитить собственное произведение. Приведем другой показательный пример. А.М. Скабичевский приводит случай (исторически довольно далеко отстоящий от рассматриваемого нами периода), в котором автор, недовольный вторжением цензора в само произведение, попробовал разграничить собственный текст и «творчество» цензора на уровне размера шрифта. Некому архиепископу Амвросию был направлен перевод сочинения «Опыт о человеке» одного из крупнейших авторов британского классицизма Александра Поупа, осуществленный студентом академии Николаем Поповским (1758). При этом Амвросию как «человеку благоразумному» текст был направлен на повторную цензуру, поскольку первично труд получил отрицательный цензурный вердикт. Однако Амвросий помимо того, что убрал все «о множестве миров, Коперниковой системы и натурализму склонного», часть авторских стихов (перевод был осуществлен в стихотворной форме) заменил собственными [Скабичевский 1892, с. 20]. Скабичевский приводит и весьма наглядный пример этого *со-авторства*, где «зверской лютостью исполненный тиран» заменяется

на «сильный в державе над подданным царь», а «крови жаждущий разбойник сограждан» на «землю орющий для податей пахарь» [там же, с. 21].

Несогласный с таким «переводом» автор разграничил в первом издании творческие упражнения Амвросия и собственные стихотворные переводы текста на уровне размера шрифта, напечатав свои переводы более мелким, а переводы цензора более крупным шрифтом [Скабичевский 1892, с. 21]. Перед нами одновременно и яркий пример попытки выступить *со-автором*, и довольно любопытный пример стратегии борьбы с цензурой и такими попытками *со-авторства*. Но вернемся к главному предмету рассмотрения – делу Комитета 2 апреля 1848 года.

В рамках статьи мы не ставили перед собой задачи проиллюстрировать всю «биографию» пьесы. Скажем только, что поставлена пьеса была лишь при Александре II. Николай I запретил пьесу к показу.

Согласно писарской копии журнала Комитета 2 апреля 1848 года, резолюция Николая I была следующей: «На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою написано карандашом: «Совершенно справедливо, напрасно печатано, играть же запретить, во всяком случае уведомить об этом Князя Волконского». 30 Марта 1850. Верно: Генерал-Адъютант Анненков» [Писарская копия].

Впрочем, на тот момент пьеса уже была запрещена к показу, о чем П. М. Волконский сообщает в ответном письме председателю Комитета 2 апреля 1848 года (1849–1855) Н. Н. Анненкову от 2 апреля 1850 г.: «Чсть имею уведомить Ваше Превосходительство, что еще до получения мною отношения Вашего, от 1-го сего Апреля, Г. Московский Военный Генерал-Губернатор относился ко мне о том, может ли сочиненная Островским комедия: Свои люди, сочтемся, быть поставлена на тамошнем театре, на что я ответил ему, что комедия была уже рассматриваема в цензуре III-го Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, но оною к представлению на театрах не одобрена» [Дело «О помещенной в № 6-м Москвитянина сего года комедии Островского «Свои люди – сочтемся»», л. 16]. Из ответного письма князя Петра Волконского мы также знаем и о том, что пьеса рассматривалась в III Отделении канцелярии Его императорского величества, и этот документ также часть истории рождения произведения. На наш взгляд, публикация классических произведений с их «цензурными биографиями», в которой, что немаловажно, цензурные документы и ответные письма авторов будут представлены целиком, а не в виде разрозненных цитат, позволит совершенно иначе взглянуть на текст.

В той или иной форме цензурные перипетии комедии Островского находят свои отражения в предисловиях к различным ее изданиям. В несколько усеченном виде общеизвестна и резолюция Николая I. Однако, на наш взгляд, этого может быть недостаточно. Публикация документов целиком (в рамках «цензурной биографии») дает дополнительное представление об атмосфере времени,

полноценно погружает текст в значимый контекст, который, если выступать с позиций неавтономности текста, оказывается важной частью произведения – такой контекст не отягощает текст. Более того, публикация произведений, написанных в ситуации предварительной цензуры, вместе с цензурными делами существенно меняет не только восприятие произведения, но и оценку роли цензора как значимого актора, а порой и *со-автора* текста. В этом смысле нашу работу на сегодняшний день можно рассматривать лишь как текст «к постановке проблемы...» или призыв искать новые исторические примеры оригинальных попыток вторжения цензоров в авторский замысел.

Возвращаясь к концепции Р. Шартье, отметим, что публикация классических произведений с их «цензурными биографиями» также является продуктом, отчасти навязывающим предварительный взгляд, который, быть может, создаст лишь иллюзию проницаемости прошлого для нашего понимания. Вопрос в том, в каком случае мы в большей степени «изобретаем» историю заново. Как минимум, публикация цензурного дела (даже если речь идет, как в нашем случае, лишь о протокольном журнале без учета дальнейшей межведомственной переписки) позволяет более отчетливо понять не только «биографию книги», но и фигуру цензора, учесть цензурную практику с ее задачами (соблюдение цензурного законодательства) и сверхзадачами (формирование доминирующего нравственного дискурса), в которых также демонстрируется взятая на себя государством патерналистско-воспитательная функция (вспомним недовольство Комитета французским «полувоспитанием»), вторгающаяся в область культурных смыслов.

Это помогает развеять и некоторые ложные представления, например то, что цензура обязана была всегда опираться на очень конкретную нарушаемую норму цензурного устава с точным указанием статьи и параграфа (чаще всего так и было, но, как мы видим, отнюдь не всегда). Наконец, история цензуры нередко представляется в виде набора нелепых случаев, казусов, забавных и абсурдных историй и анекдотов. Это делает книги по истории цензуры интересными для читателей. Но, на наш взгляд, если вместо некоторой выжимки из истории опубликовать произведение вместе с полноценной «биографией текста», со всеми цензурными документами, составляющими некий *backstage* литературной жизни, мы сможем более отчетливо разглядеть и «фигуру цензора», и несколько более сложную, чем она порой представляется, «атмосферу эпохи».

Пожалуй, осознание истинного масштаба влияния цензуры на литературу неизбежно приходит к каждому, кто изучает эту область. Об этом свидетельствуют как дореволюционные, так и современные исследователи. Например, Алексей Котович, дореволюционный ученый, специализировавшийся на духовной цензуре, метко назвал цензурные архивы «кладбищем мысли». Мы много говорим о прямом вмешательстве цензуры в содержание произведений, но нередко упускаем из виду колоссальный объем высказываний, которые так

и остались не прозвучавшими и навсегда утерянными для читателя. Упомянутый нами Кирилл Зубков, посвятивший целый раздел своей монографии судьбе комедии Островского [Зубков 2023, с. 251–295], во введении признается: «Вникая в кажущиеся однообразными и унылыми документы, я понимал, что цензура активно участвовала в литературной и общественной жизни Российской империи. Если не учитывать этот фактор, вряд ли можно понять наиболее значимые процессы в культуре Российской империи... Через несколько лет подобных занятий мне стало ясно, насколько иллюзорны представления о том, что цензура представляет собою периферийное, хотя и важное обстоятельство в истории русской литературы; напротив, как оказалось, невозможно отделить историю литературы от истории цензуры» [там же, с. 8]. Судя по всему, эта мысль посещает всех, кто прицельно знакомится с цензурными делами, но остается за кадром для тех, кто знакомится с русской литературой без этого контекста. Возможно, академические издания произведений с их цензурными делами восполнили бы это упущение.

Библиография

- Горюнов С.А. Семантические приключения понятий: цензурное делопроизводство как источник изучения исторической семантики понятий (по материалам «Комитета 2-го апреля 1848 года») // Вестник культурологии. 2024. № 2(109). С. 59–91.
- Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры // Гуревич А.Я. Избранные труды. Средневековый мир / под ред. С.Я. Левит. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020. С. 17–262.
- Дарнтон Р. Цензоры за работой. Как государство формирует литературу / пер. с англ. М. Солнцевой. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 336 с.
- Дело «О воспрещении всякого рода приглашения или извещения печатать на билетах с символическими изображениями» // РГИА. Ф. 1611. Оп. 1. Ед. хр. 49.
- Дело «О извлечении из продажи книжки под заглавием: Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав Русского языка». // РГИА. Ф. 1611. Оп. 1. Ед. хр. 69.
- Дело «О папиросах со стихами и оракулом» // РГИА. Ф. 1611. Оп. 1. Ед. хр. 170.
- Дело «О помещенной в № 6-м Москвитянина сего года комедии Островского “Свои люди – сочтемся”» // РГИА. Ф. 1611. Оп. 1. Ед. хр. 96.
- Дело «О помещенном в 10-м № Москвитянина рассказе Ворожейка, соч. В. Даля» // РГИА. Ф. 1611. Оп. 1. Ед. хр. 37.
- Дело «О привозимых из франции девизах, наклеенных на конфеты» // РГИА. Ф. 1611. Оп. 1. Ед. хр. 10.
- Дело «Об издаваемых в Москве лубочных картинках без дозволения цензуры» // РГИА. Ф. 1611. Оп. 1. Ед. хр. 17.
- Дело «По учреждению Комитета 2-го Апреля 1848 года для высшего надзора за произведениями Русского книгопечатания» // РГИА. Ф. 1611. Оп. 1. Ед. хр. 1.
- Зубков К. Просвещать и карать: функции цензуры в Российской империи середины XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2023. 520 с.
- Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Санкт-Петербург: Типография Губернского правления, 1845. 176 с.
- Лакшин В.Я. А.Н. Островский. М.: Гелеос, 2004. 768 с.

- Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2013. 602 с.
- Лемке М.К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб.: Труд, 1904. 427 с.
- Никитенко А.В. Записки и дневник (1826–1877). Т.1. СПб.: А.С. Суворин, 1893. 588 с.
- Патрушева Н.Г. Цензурные учреждения Российской империи и система карательной цензуры в начале XX века // ТРУДЫ СПБГИК. 2016. Т. 213. С. 79–84.
- Писарская копия журнала Комитета 2 апреля 1848 года с резолюцией Николая I. РГИА. Ф. 1611. Оп. 1. Ед. хр. 96. Л. 2.
- Скабичевский А.М. Очерки истории русской цензуры (1700–1863 гг.). СПб.: Ф. Павленков, 1892. 495 с.
- Шартье Р. История и литература / пер. И.К. Стаф // Одиссей. Человек в истории. 2001: русская культура как исследовательская проблема. М.: Наука, 2001. С. 162–175.
- Энгельгардт Н.А. Очерк истории русской цензуры в связи с развитием печати (1703–1903). СПб.: А.С. Суворин, 1904. 389 с.

References

- Darnton R. Tsenzory za rabotoi. Kak gosudarstvo formiruet literaturu [Censors at Work: How the State Shapes Literature]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2017. 336 p. (In Russ.)
- Delo “O iz”yatii iz prodazhi knizhki pod zaglaviiem: Karmanni slovar’ ino-strannykh slov, voshedshikh v sostav Russkogo yazyka” [File “On the withdrawal from sale of the book titled: A Pocket Dictionary of Foreign Words Incorporated into the Russian Language”]. RGIA. F. 1611. Op. 1. Ed. khr. 69. (In Russ.)
- Delo “O papirosakh so stikhami i orakulom” [File “About cigarettes with poems and an oracle”]. RGIA. F. 1611. Op. 1. Ed. khr. 170. (In Russ.)
- Delo “O pomeshchenoi v № 6-m Moskvityanina sego goda komedii Ostrovskogo ‘Svoi lyudi – sochtemsyia” [File “About Ostrovsky’s comedy “Svoi lyudi – sochtemsyia” published in N 6 of Moskvityanin this year”]. RGIA. F. 1611. Op. 1. Ed. khr. 96. (In Russ.)
- Delo “O pomeshchenom v 10-m No Moskvityanina rasskaze Vorozheika, soch. V. Dalya” [File “On the story Vorozheyka by V. Dahl, published in N Moskvityanin”]. RGIA. F. 1611. Op. 1. Ed. khr. 37. (In Russ.)
- Delo “O privozimyykh iz Frantsii devizakh, nakleennykh na konfety” [File “About mottos brought from France and pasted onto sweets”]. RGIA. F. 1611. Op. 1. Ed. khr. 10. (In Russ.)
- Delo “O vosproshchenii vsyakogo roda priglaseniya ili izveshcheniya pechatat’ na biletakh s simvolicheskimi izobrazheniyami” [File “On the prohibition of any kind of invitation or notice to be printed on tickets with symbolic images”]. RGIA. F. 1611. Op. 1. Ed. khr. 49. (In Russ.)
- Delo “Ob izdavaemykh v Moskve lubochnykh kartinkakh bez dozvoleniya tsenzury” [File “On popular prints published in Moscow without censorship permission”]. RGIA. F. 1611. Op. 1. Ed. khr. 17. (In Russ.)
- Delo “Po uchrezhdeniyu Komiteta 2-go Aprelya 1848 goda dlya vysshego tsenzurnogo nadzora za proizvedeniyami Russkogo knigopechataniya” [File “On the establishment of the Committee of April 2, 1848, for the supreme censorship supervision of Russian published literature”]. RGIA. F. 1611. Op. 1. Ed. khr. 1. (In Russ.)
- Engel’gardt N.A. Oчерк istorii russkoi tsenzury v svyazi s razvitiem pechaty (1703–1903) [An essay on the history of Russian censorship in connection with the development of printing (1703–1903)]. Saint-Petersburg: A.S. Suvorin, 1904. 389 p. (In Russ.)

Goryunov S.A. Semanticheskie priklyucheniya ponyatii: tsenzurnoe deloproizvodstvo kak is-tochnik izucheniya istoricheskoi semantiki ponyatii (po materialam «Komiteta 2-go aprelya 1848 goda») [Semantic adventures of concepts: censorship record-keeping as a source for researching historical semantics of concepts (based on the sources of the “Committee of April 2nd, 1848”)]. Vestnik kul'turologii [Herald of Culturology]. 2024. N 2(109). P. 59–91. (In Russ.)

Gurevich A.Ya. Kategorii srednevekovoi kul'tury [Categories of Medieval Culture]. In Gurevich A.Ya. Izbrannye trudy. Srednevekovyi mir [Selected Works. The Medieval World]. Moscow; Sankt-Peterburg: Tsentr gumanitarnykh initsiativ, 2020. P. 17–262. (In Russ.)

Karmannyj slovar' inostrannyx slov, voshedshix v sostav russkogo yazyka [Pocket Dictionary of Foreign Words Included in the Russian Language]. Sankt-Peterburg: Tipografiya Gubernskogo pravleniya, 1845. 176 p.

Lakshin V.Ya. A.N. Ostrovskii. Moscow: Geleos, 2004. 768 p. (In Russ.)

Lappo-Danilevskii A.S. Metodologiya istorii [Methodology of history]. Moscow: Akademicheskii Proekt; Ekaterinburg: Delovaya kniga, 2013. 602 p. (In Russ.)

Lemke M.K. Ocherki po istorii russkoi tsenzury i zhurnalistiki XIX stoletiya [Essays on the history of Russian censorship and journalism in the 19th century]. Saint-Petersburg: Trud, 1904. 427 p. (In Russ.)

Nikitenko A.V. Zapiski i dnevniki (1826–1877) [Notes and diary (1826–1877)]. Vol. 1. Saint-Petersburg: A.S. Suvorin, 1893. 588 p. (In Russ.)

Patrusheva N.G. Tsenzurnye uchrezhdeniya Rossiiskoi imperii i sistema karatel'noi tsenzury v nachale XX veka [Censorship institutions of the Russian Empire and the system of punitive censorship at the beginning of the 20th century]. TRUDY SPbGIK. 2016. Vol. 213. P. 79–84. (In Russ.)

Pisarskaya kopiya zhurnala Komiteta 2 aprelya 1848 goda s rezolyuciej Nikolaya I [Pocket Dictionary of Foreign Words Included in the Russian Language. A copy of the Committee's journal dated April 2, 1848, with a resolution by Nicholas I]. RGIA. F. 1611. Op. 1. Ed. xr. 96. 2.

Shart'e R. Istoriya i literatura [History and Literature]. In Odissei. Chelovek v istorii. 2001: russkaya kul'tura kak issledovatel'skaya problema [Odysseus. Man in History. 2001: Russian Culture as a Research Problem]. Moscow: Nauka [Nauka Publishers], 2001. P. 162–175. (In Russ.)

Skabichevskii A.M. Ocherki istorii russkoi tsenzury (1700–1863 gg.) [Essays on the history of Russian censorship (1700–1863)]. Saint-Petersburg: F. Pavlenkov, 1892. 495 p. (In Russ.)

Zubkov K. Prosveshchat' i karat': funktsii tsenzury v Rossiiskoi imperii serediny XIX veka [To Enlighten and to Punish: The Functions of Censorship in the Russian Empire in the Mid-19th Century]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie [New Literary Observer], 2023. 520 p. (In Russ.)